

ПТИЦЫ НОЧИ

Мумия, конечно же, вскоре мне приснилась. Но не в первую и даже не во вторую ночь... Она осталась столь же спокойной и неподвижной, только зелёные глаза её из-под сморщенных век смотрели на мир с нескрываемым любопытством, вполне объяснимым, на мой взгляд.

Впервые я увидел её в Музее, занимавшем чудом сохранившуюся боковую галерею полуразрушенного здания театра, уступами поднимавшегося от реки (точнее, к реке медленно сползавшего, ибо именно в этом и была причина разрушения огромного здания: говорили, что под ним бьют неучтённые подземные ключи, однако ключи сии били и раньше, когда на месте этом благополучно располагался монастырь с церквями, трапезной, братскими кельями, да еще и опоясанный монументальной оградой; так что причина, возможно, была в чем-то другом). Ну да это всё к слову, чтобы обозначить место действия. Ведь до того дня я просто не знал о существовании в нашем городе художественного Музея, в котором среди прочих интересных вещей и картин покоилась в простом деревянном гробу самая настоящая египетская мумия.

Я купил билет за пять копеек и вошёл внутрь. Она лежала почти у самого входа в окружении стеклянных шкафов, заполненных мелкими статуэтками и древними черепками. Глаза её были, конечно, прикрыты, тончайшие ручки сложены крестнакрест на груди, но вид она имела вполне человеческий, хотя и страшноватый. Наверное, это был первый мёртвый человек, которого я в своей жизни увидел.

Я так долго ходил вокруг неё, что пожилая и строгая служительница стала поглядывать на меня с подозрением, которому, как мне кажется, я не дал ни малейшего повода: мумия лежала совершенно открыто, а не под стеклом, но потрогать её пальцем мне даже не приходило в голову. Я ею был просто очарован – именно это слово в своем первоначальном значении точнее всего определяет моё тогдашнее состояние, близкое к умилению: она просто вошла в мою жизнь навсегда, хотя тогда я об этом ещё не подозревал. Как, впрочем, и о многом другом: мне было, наверное, лет десять – чудный возраст открытия мира.

Во сне мумия явилась не одна: по бокам её изголовья сидели две крупные белые птицы с длинными клювами, лишь концы крыльев и плечи их были чёрными (позже я разыскал их у Брема: они оказались ибисами, но прежде я никогда их не видел). Птицы сидели молча и спокойно разглядывали меня: им было несколько удобнее, чем их мертвому властелину, моргавшему несуществующими ресницами. Я без опаски подошел ближе и склонился над ним. Птицы, явно охранявшие его покой, беспокойства не проявляли, даже более того: мне показалось, что они настроены ко мне вполне дружелюбно. Человек глядел на меня своими зелёными глазами и больше не моргал. Похоже, он хотел, чтоб я помог ему привстать. Я осторожно коснулся плеч мумии и стал её приподнимать: иссохшие мускулы напряглись, и он сел. Руки на груди остались неподвижны, но голову он повернул сначала в одну, потом в другую сторону, после чего очень вежливо

мне кивнул. Я ответил ему тем же. Птицы переглянулись. Хотя чего они, собственно, от меня хотели? Говорить египтянин даже не пытался – то ли он не знал, на каком языке со мной объясниться, то ли это не входило в его планы или же возможности. Но, казалось, он получал удовольствие от того, что сидит, глаза его на абсолютно неподвижном лице прямо-таки светились. Во взаимном лицезнении прошло какое-то время. Потом он посмотрел ещё несколько раз по сторонам – а надо сказать, что мы находились в слабо освещённом помещении без окон, напоминавшем мою собственную комнату, – и выразил явное желание прилечь. Что я и помог ему сделать. Он закрыл глаза, и всё окружающее сразу погрузилось в темноту, как будто бы глаза закрыл не он, а я сам.

Стоит ли говорить о том, что на следующий день я вновь оказался в Музее. Что я ожидал там увидеть? Всё, конечно же, было по-прежнему, только служительница встретила меня с едва скрытой улыбкой; мне даже показалось, что она меня ждала. Впрочем, кое-что всё-таки было не так. Сквозь небольшое окно, находившееся шагах в трёх от изголовья мумии и прежде задёрнутое плотной шторой, пробивалось солнце и освещало её лицо. Но это лишь портило впечатление: тени при столь ярком освещении обозначились чётче и резче, отчего лицо казалось совсем неживым, ненастоящим, напоминало страшную африканскую маску из чёрного дерева. Позже штора на этом окне никогда больше не открывалась, хотя я и не рискнул предположить, что служительница услышала мои мысли.

Изредка, не надоедая, он вновь появлялся в моих снах. И всё повторялось. Видимо, после тысячелетий неподвижности его вполне удовлетворял минимум движений и обзора. Обстановка каждый раз немного менялась. То есть птицы присутствовали всегда, но тесные стены первого

этажа отступали всё дальше, а едва заметный прежде зеленоватый свет становился ярче и сиятельнее, что ли. Как-то стены вообще исчезли, и мы очутились в бескрайней песчаной пустыне, отличие которой от обычной Сахары, например, было в том, что всё, то есть песок и небо, оказалось не жёлтым и голубым, а зелёным. Причем это выглядело столь естественно, что, проснувшись и разглядев за окном утреннюю голубизну, я был немало озадачен поначалу.

Эти посещения продолжались до тех пор, пока Музей не переехал в новое здание; боковую галерею, где он раньше находился, разрушили, начав растянувшуюся потом на много лет реконструкцию сползающего театра. Теперь мумия вместе с экспонатами разместилась на втором этаже бывшего коммерческого училища, но общение наше стало односторонним: только я приходил к ней в гости. Зато ибисы поселились под крышей театра. Откуда я это узнал? Я обнаружил их гнезда.

Дело в том, что мы с друзьями избрали театр для своих путешествий. Холодок страха казался острой приправой к чувству необычайной свободы, возникавшему во время прогулок по перекрытиям над тёмной бездной пустынного зала. Некоторые двери вели в никуда, то есть в эту самую бездну. Однажды разумное ощущение реальности настолько оставило меня, что под крышу я полез в полном одиночестве. Забравшись наверх, я испытал мгновение почти животного страха, но не столько от высоты, сколько от тьмы, поглотившей меня, казалось, целиком. Лишь когда свет из разных дальних щелей растворился в темноте, разбавив её до состояния относительной прозрачности, я пришёл в себя. В тишине какой-то шорох далеко справа достиг моего обострившегося слуха. Я посмотрел туда, но не увидел ничего; чуть передохнув, уже ползком (по металлическому рельсу) я добрался до небольшой площадки, примыкавшей к внешней сте-

не. Здесь я обнаружил, что в стене есть маленькая квадратная дверца. За нею открывался кусочек неба. Под небом лежал наш город. Он меня, впрочем, не очень интересовал, ибо я множество раз прежде осматривал его с высоты театральной крыши, откуда можно было обозревать мир во все стороны, сквозь дверцу же я мог видеть лишь реку, цирк, трамвайные пути, кафе, корпуса фабрики и несколько домов. Зато осветилось почти всё пространство над сценой, и именно там, на довольно широком карнизе вдоль стены, что-то происходило. Там кто-то шелестел и тонко-тонко попискивал. Почти сразу я понял, что это ибисы свили гнёзда и вывели птенцов. Причем поселилась там явно целая колония этих больших и бесшумных птиц. При свете они были невидимы. Лишь прикрыв дверцу в стене, я их увидел. Их было три пары, сидевших по бокам очень аккуратно сплетённых гнёзд, откуда виднелись любопытные и смешные головки птенцов. «Чем они их тут кормят?» – подумал я. Мне пришло в голову, что если уж они решились жить в такой темноте, то могут, наверное, обходиться и без пищи, во всяком случае без обычной птичьей пищи. Вполне возможно, что питаются они акридами и диким медом ночных небесных полей, звёздной просеянной пылью и сладким предутренним туманом. Чтоб не беспокоить их больше, я открыл дверцу, от которой вниз тянулась пожарная лестница, выбрался на свет и спустился на землю. Где меня, как оказалось, ожидал молоденький милиционер, твердо решивший сопроводить неразумного отрока в отделение. Но я ему столь живописно расписал предполагаемый ужас моей матушки, когда она узнает истинную причину задержания, что на полпути он отпустил меня, взяв обещание больше не лазить туда, откуда я только что слез.

Грешен, но я скрыл свое открытие от друзей. Я понимал, что о птицах, кроме

меня, не должен знать никто. Впрочем, я и сам, если долго не видел их, начинал в их существовании сомневаться. Они же, игнорируя мои сомнения, продолжали размножаться. Не столь быстро, как воробы, конечно. Всё-таки это были большие и серьёзные птицы.

Я посещал их время от времени, но не очень часто. К следующей весне они расселились уже над всей сценой. Я, сидя на своей площадке у дверцы, наблюдал их жизнь и полёты. Кажется, они никогда не садились на землю, – полетав в замкнутом тёмном зале, они возвращались к своим гнёздам. Чем они жили? Ведь не только же заботами о потомстве? Интересно, что вроде бы резонный вопрос о том, как они здесь вообще оказались, меня никогда не занимал: можно объяснить, почему идёт дождь, но он в этом не нуждается, так и существование птиц не требовало объяснений, разве что сочувствия, но вовсе без оттенка жалости. Я тешил себя иллюзией, что моё присутствие их не раздражает. Даже наоборот, им приятно. Я их полюбил, такая трудная ночная жизнь внушала мне уважение, какое-то трепетное чувство к ним. Я понимал, хорошо понимал, что они выпадают из привычной природы вещей и что мир их хрупок и легко может быть разрушен.

Года через два за реконструкцию театра взялись почти всерьёз. И птицы, похоже, стали собираться восвояси: они торопливо обучали молоденьких птенцов летать. Я мог появляться только вечерами, когда уходили последние рабочие.

Этот день, то есть ночь, наступил, когда над крышей театра расправил стрелу подъёмный кран. Я почувствовал, что не должен присутствовать при том моменте, когда они будут покидать своё тёмное привычное жилище, – возможно, зрелище это предполагалось не очень эстетичным: красивые и гордые птицы будут протискиваться сквозь какие-то узкие щели, оставляя

на кирпичных зазубринах перья и пух. Но я, конечно же, не спал и стоял в своей комнате у окна. Ближе к полуночи я услышал их гортанные громкие крики. Стая спланировала на крышу двухэтажного дома, стоявшего прямо против моего. Вид они имели внушительный, но невесёлый.

Я смотрел на них, а они на меня. Я тоже присел перед их дальней дорогой. Когда я поднялся, они враз взмахнули крыльями, словно прощаясь со мной, и беззвучно снялись. Я махал им рукой, пока их было видно.

Когда наконец я уснул, повторился тот давний сон с мумией и птицами. Теперь мы оказались на вершине горы, откуда открывался вид на огромный зелёный город с голубой рекой. Я догадался, что это Каир, раннее утро.

Птиц было множество: они облепили вершину словно огромные чайки, но сидели молчаливо и сосредоточенно. Две, самые торжественные, у изголовья мумии. Я привычно помог человеку сесть и на какое-то время задержал руку на его плече. Он повернулся в мою сторону. Мне очень хотелось с ним заговорить, но я так и не решился. Скорее всего, это было бессмысленно. И не нужно. Тем более что чуть позже за своё молчание (за что же ещё?) я был вознаграждён. Зеленоватый туман над городом и вокруг, до горизонта, рассеивался восходящим солнцем, уже осветив-

шим на той стороне реки пирамиды Гизы. Остров посреди Нила наполнился пением каких-то иных, не моих птиц. Мои смотрели в сторону Запада. И мы с человеком последовали их примеру. Довольно долго ничего особенного не происходило, лишь изумрудный цвет западного неба становился всё светлее, пока не приобрёл чистейший голубой оттенок. Тогда-то, на тёмной еще кромке горизонта, мы увидели чёткий силуэт самого бога Осириса, Владыки Прекрасного Запада, обходящего предутренние границы Страны Мёртвых.

Проснувшись, я понял с поразительной и окончательной ясностью, что человек, в том числе и я, бессмертен. И что мир не ограничивается видимостями, а смерть есть продолжение жизни. Открытие это напомнило мне о пронзительном страхе, испытанном однажды ночью: я тогда оставался дома один и при свете читал детскую книжку о приключениях весёлых человечков на Луне. И вдруг книга буквально выпала из рук. Это был страх одиночества и крадущейся неотвратимо смерти. Я тогда заплакал. Теперь я рассмеялся, сам с собою. События, вычитанные из «Всемирной истории», словно пробежали чередой перед моим открывшимся взором: это была лишь летопись мгновений, заключённых в толстые тома. Подлинная история всё больше дышит между строк. С тех пор я так её и читаю.

САД ГРЁЗ

В правую от моего дома сторону наша улица завершалась монументальными зданиями банка и музыкального театра, другой её конец выходил к трамвайным путям прямо против психиатрической ле-

чебницы. Ещё одно скорбное заведение, для проходящих больных, располагалось в центральной части улицы, по соседству со школой, бывшей женской гимназией, знаменитой тем, что в ней когда-то училась

одна неудачливая террористка, чьё имя и носило сие учебное заведение, считавшееся лучшим в городе. И я там учился.

Часть улицы была застроена четырёхэтажными кирпичными домами, но сохранилось много и двухэтажных, вросших в землю, с полуподвальными квартирами и просторными дворами, жившими какой-то отличной от нашей жизнью, несколько патриархальной и, как я теперь понимаю, довольно убогой: я помню кислые запахи квартир, вход в которые был прямо со двора, причём наличие этих запахов не зависело от чистоплотности хозяев. Почему-то и все мои уличные приятели, жившие в таких домах, учились в другой, слывшей очень хулиганской, школе. Но меня всегда тянуло в эти дворы, где мужики с детским азартом играли в домино, пили дешёвый портвейн, а в дни полочки били своих жён и сожительниц: у большинства моих приятелей отцы были неродными.

У нашего дома тоже был двор, но совсем другой: ухоженный, с беседкой, удобными скамейками и большим столом в центре, на котором мы резались в пинг-понг. Двор наш естественным образом переходил в следующий, а потом – ещё в один, где сначала был пустырь с баскетбольной площадкой, а позже – долгая стройка, где мы устраивали между собой войны, перестреливаясь из самодельных деревянных ружей с тугими резинками; ещё чудо, что никто из нас не лишился глаза – стреляли мы убийными проволочными пулями. Это летом. Зимой мы лазили по сугробам, строили снежные крепости и рыли глубокие пещеры. Из двора моего старшего приятеля, жившего напротив, по крышам, на разных уровнях переходивших одна в другую, мы добирались до захламлённого отслужившими своё декорациями и штабелями старых ящиков двора, принадлежавшего в равной мере театру и овощному магазину.

В театре у меня не было ни одного знакомого, в магазине же работал грузчиком

даун Коля, с которым всех нас связывала своего рода дружба. В магазине он служил, похоже, на каких-то полуофициальных началах. Очень редко я видел его перевозящим ящики с овощами, чаще он просто путешествовал по каким-то своим надобностям, в том числе и по нашей улице, катя тяжёлую громохочущую тележку и представляя себя водителем автомобиля: он переключал скорости, громким звуком «бип-бип» предупреждал зазевавшихся у него на пути пешеходов, маневрировал, объезжая препятствия, гудел, газовал, буксовал, в необходимых случаях давал задний ход. Всё это он проделывал чрезвычайно серьёзно, совершенно особо понимая свою роль в процессе социально-трудоустройственной реабилитации, которой ради, вероятно, его и пристроили служить в магазин, едва ли, впрочем, надеясь на большое чудо. Хотя чудом было уже и то, что, обладая классической внешностью дауна, он отличался не только покладистым и незлобивым характером, но и явной способностью к своеобразному, но всё же почти нормальному общению. Во всяком случае, с нами: несколько раз, например, он угощал нас яблоками, доставая их из своих глубоких карманов. Мы, дураки, их потом потихоньку выбрасывали, – казалось, что и яблоки пахнут тем особым нечистым и прогорклым запахом, который Коля распространял вокруг себя. Я не знаю, сколько ему было лет, возможно, он и сам этого не знал, но, во всяком случае среди нас, он чувствовал себя старшим: роста он был большого, да и комплекции солидной, поэтому и смотрел на нас сверху вниз, что в его глазах и служило, видимо, главным признаком старшинства. Мы над ним, конечно, посмеивались, но по большому счёту никогда не издевались – лишь так, по мелочам. Да это могло бы оказаться и небезопасным: малым он был здоровым. Говорил он не очень понятно, короткими фразами. Иногда, будучи в особо добром

расположении духа, он предлагал нам покататься. В одиночку никто бы не решился, всё-таки стыдно это как-то было, но за компанию – соглашались. Вдвоём-втроём мы усаживались на тележку, Коля долго газовал, потом взывал особенно громко и нутжно, и мы трогались. Он вёз нас по дороге от театра и банка до школы, мы громко смеялись и его подбадривали, но с прохожими встречаться взглядами опасались. Старухи, сидевшие на лавочках, укоризненно качали головами, но наблюдали за нашим путешествием до самого конца, до того момента, как Коля тормозил и, приподнимая высоко один край тележки, ставляя нас с неё скатываться, словно с детской горки. «Коля, Коля! Разве на самосвалах людей возят?» – говорил кто-нибудь из нас. «Возят, возят, слазь», – отвечал строго он.

По-настоящему ему досаждали более старшие, те, что уже пили портвейн, курили в открытую и ругались матом в полный голос. Этих старших товарищей, особенно если их было больше одного, Коля старался обходить стороной. Но не всегда ему это удавалось. Об одной такой Колиной неудаче рассказывал, поганю улыбаясь, мой туповатый приятель Коровкин, в деле участия не принимавший, но при том присутствовавший.

Отчасти Коля сам был виноват в случившемся, потеряв всегдашнюю бдительность и поддавшись ласково-настойчивым уговорам трёх местных хулиганов – Сидора, Пони и Балаки, обещавших подарить ему собаку и угостить чем-то вкусным. Так его заманили на стройку. Где вручили длинную бельевую верёвку, к которой была привязана маленькая дрожащая дворняжка с затёкшим глазом, и напоили портвейном. Коля с полстакана захмелел, обнял покорную собаку и что-то зашептал ей на ухо, забыв обо всём на свете. В этот момент в окне показалась физиономия Коровкина и заржала. Появление зрителя,

видимо, ускорило развитие событий. Братья-разбойники достали припрятанные ружья и хладнокровно начали расстреливать Колю, аккуратно прицеливаясь. Собака, как существо более опытное, под шумок вырвалась из Колиных объятий и благополучно сбежала. Коле же путь был отрезан. Он плакал, выл, шипел, извивался, но пульки его достигали: слишком уж идеальной мишенью он был. В конце концов, озверев от боли и обиды, он ринулся напролом – стрелки разбежались как крысы, а Коля, даже забыв про свою тележку, с воем и громким топотом помчался в сторону магазина. Спустя несколько минут из-за угла театра выскочил огромный мрачный детина, коллега-грузчик, засучивающий на бегу рукава рубахи. Обидчиков, конечно же, и след простыл. Он погрозил кулаком небу и, матерясь, покотил обратно тележку. С тех пор Поня, Сидор и Балака мимо овощного магазина ходить опасались, а Коля, наверное, с месяц на нашей улице не показывался.

Вскоре после того случая я зашёл к соседу Женьке, мать которого была врачом, а сам он человеком очень начитанным. Хотя пришёл я безо всякой задней мысли, а просто в гости, тем более не в первый раз, но взгляд мой почему-то очень быстро наткнулся на красный корешок учебника по психиатрии, который я и принялся листать, не обращая внимания на Женькины призывы воспользоваться отсутствием родителей и почитать в медицинской энциклопедии о половых извращениях. Я нашёл главу, посвящённую болезни Дауна: «Внешний вид больных характерен: косой разрез глаз, с кожной складкой во внутреннем углу (третье веко, эпикант), наличие участков депигментации на периферии радужки, круглое широкое лицо с румянцем на щеках, маленький нос и маленькая верхняя челюсть. Отмечается увеличение языка и верхней губы, борозды языка углублены. Зубы редкие и мелкие.

Рот небольшой, открыт, нередко саливация. Голова маленькая, затылок уплощён. Пальцы кисти толстые и короткие. Имеются уродства внутренних органов». Всё описанное, кроме уродств внутренних органов, размеров языка и некоторых других мелких деталей, о которых мне судить было сложно, идеально соответствовало Колиной внешности. Даже саливация, которая, как я выяснил по словарю, «есть то же, что слюноотделение».

«У него – лишняя хромосома и третье веко», – сказал я. «У кого?» – удивился Женька. «У Коли-дауна». – «А...» – сказал Женька. «Он, наверное, живёт в другом измерении», – сказал я и тут же себе поверил: так это могло быть похоже на правду. «В каком другом?» – «Там у всех сорок семь хромосом, и мы им кажемся уродами». – «Все?» – «Почти все. Ты – не кажешься. У тебя тоже, наверное, сорок семь хромосом. Или сорок восемь». – «Дурак», – беззлобно махнул рукой Женька: он был человеком невозмутимым (позже он стал ветеринаром и большим поклонником жизненной философии Льва Николаевича Толстого). «Представляешь, их описывают как инопланетян». – Я протянул Женьке открытую книгу. «По-моему, как обыкновенных даунов», – ответил он, ознакомившись. «Да нет, ты не понимаешь: вот если бы у него была третья нога или две головы, то ты бы поверил, а у него только третье веко». – «Эпикантус есть у монголов и у некоторых представителей негроидной расы». – «Так что, по-твоему, Коля – просто монгол или негр?» – «Я этого не говорил. Он – неправильно развившийся человек, вот и всё». – «А ты что – правильно развившийся?» – «Относительно Коли – да». – «А относительно...» – Я так и не придумал, относительно кого Женька со своей эрудицией мог быть развившимся неправильно. Тема разговора как-то сама собой иссякла. О половых извращениях мои знания тоже в тот раз не пополнились,

так как вернулась со службы Женькина мать и я отключился.

Положа руку на сердце, едва ли я могу утверждать, что Коля и его загадочная одинокая судьба занимали меня постоянно. Однако и равнодушным я быть не мог. Да и вообще соседство двух психиатрических лечебниц наводило на какие-то мысли. Я уже тогда не очень верил в простые совпадения. Последующая жизнь множество раз подтверждала мою правоту. А отчасти и предыдущая – не в смысле какой-то прежней жизни, а в смысле особого опыта, к тому времени у меня уже имевшегося. Достаточно было одного воспоминания, чтобы поверить в нечто самое невероятное.

Это случилось года за два до того. Стояло чудовищно жаркое лето. Вокруг города горели леса. Сизая дымка заволакивала небо, запахом гари пропитались дома, деревья и даже пыль. Были отменены все загородные лагеря: ходили слухи, что люди заживо проваливались в тлеющие изнутри торфяные болота. В городе появились погорельцы, просившие по квартирам милостыню. Поначалу им подавали щедро, потом всё меньше и меньше. Бабки шептали о каре небесной, дикторы бодрими голосами сообщали об очередных победах пожарных. Это только умножало слухи. Тогда-то и появилась на нашей улице девочка с забинтованными руками, загорелая до черноты. Целыми днями она бродила вдоль школьной ограды, прижимая к груди маленького чёрного котёнка. Говорили, что её родители погибли в огне и её забрали к себе родственники, жившие на нашей улице, в глубине одного из дворов. С нами она почти не разговаривала, но котёнка гладить разрешала. Он был совершенно чёрным, только кончики ушей и хвоста серебрились сединой. Котёнок почти не умел ходить, он только ползал по жёлтой траве газона, подволакивая задние ноги. Она сказала, что раньше он ходить умел, но потом испугался и разучил-

ся. О том, что его так напугало, она умалчивала. О родителях её мы тем более не расспрашивали. Но однажды, когда она опустила котёнка на землю, он побежал. Я сам при этом присутствовал. Смотря на это маленькое скачущее по траве существо, трудно было поверить, что ещё вчера он умел только ползать. «Я так и знала», – сказала девочка. «Что ты знала? – спросил я, так как больше спросить было некому (я просто шёл мимо из магазина с батоном хлеба и остановился погладить котёнка, я его погладил, девочка опустила его на землю, и он побежал). – Что ты знала?» – повторил я. «Что мальчик с батоном хлеба погладит Кешу и он вылечится». – «Откуда ты это знала?» – «Мне это приснилось сегодня ночью. Я с самого утра стою на улице и жду мальчика с батоном хлеба... И ещё я видела во сне дождь», – сказала она всё с тем же серьёзным выражением, которое с лица её не сходило. Ночью пошёл дождь. И лил не переставая весь конец лета и всю осень. А девочку я почему-то больше не видел. Возможно, слухи о погибших родителях были всего лишь чьей-то фантазией или преувеличением. Мне в это хотелось верить. Кстати, я только потом понял, что не знаю её имени. И никто не знал из тех, кого я спрашивал. А была ли девочка? Была, была...

Как было и то, чего, собственно, ради я и затеял рассказ о Коле-дауне. Со временем он тоже пропал, во всяком случае, из моей жизни и с нашей улицы, но тогда он ещё был. Спустя примерно месяц после происшествия на стройке он вновь стал появляться, только почему-то больше на своём «автомобиле» нас не катал. И вообще стал более подозрительным и нервным: на предложение куда-нибудь пойти или прокатиться он реагировал мгновенно, разворачиваясь к нам задом и уносясь с грохотом и явно недозволенной скоростью. Зато он начал курить. Правда, так и не научился делать это по-настоящему: втягивал дым

и просто открывал рот и ждал, пока белые клубы выплывут из него сами. Мы над ним потешались, старались научить его курить правильно, но он только сердился и делал по-своему.

Однажды я увидел его на соседней улице, куда наша школа выходила главным фасадом. Он был без тележки и шёл своей семенящей походкой мимо типографии, имея вид несколько таинственный: оглядывался по сторонам и независимо посвистывал, то есть сжимал и вытягивал губы, выдувая воздух, – собственный свист слышал, наверное, только он сам. Пройдя мимо зелёных ворот красильной мастерской, он остановился, внимательно посмотрел вокруг и протиснулся в щель между воротами и углом школьной ограды. Этот путь вёл в тупик, заросший кустами акации, под сенью которых, на ящиках, любили располагаться для философических бесед тихие пьяницы – в какой-нибудь развилке ветвей всегда можно было разыскать стакан; иногда мы обнаруживали среди корней и стеклянных осколков использованные презервативы.

Зная, что другим путём оттуда выйти нельзя, я решил переждать какое-то время, присев на бетонный цоколь ограды. Курить в столь опасной близости от родной школы я боялся, посему сидел просто так, поглядывая на часы, будто кого-то жду. Спустя минут десять я юркнул в щель: ступая медленно и осторожно, добрался до той площадки, где по кругу стояли ящики; выглянув из-за куста, я Коли не обнаружил. Несколько озадаченный, я присел на корточки, хотел закурить, но раздумал и затаился, прислушиваясь.

Так прошло ещё несколько минут. Мелкая листва надо мной тихо-тихо трепетала, её живая тень ажурной сетью покрывала сухую землю, мои руки; было даже прохладно. И тут я услышал негромкий протяжный голос, звучащий почти на одной ноте: уа-уа-уа-уа... При всей своей стран-

ности звук походил на песню, заунывную и успокаивающую. Он доносился из дальнего угла тупика, из-за самых густых кустов. Стараясь не дышать даже, едва ли не ползком я стал пробираться меж оградой и низкими ветвями, переплетавшимися с чугунной решёткой. Подняв голову, я в двух шагах от себя увидел Колю. Он сидел на корточках, прислонившись спиной к глухой стене, и качал на руках большую розовую куклу, голую и совершенно лысую. Давно разучившиеся закрываться её стеклянные голубые глаза смотрели на мир удивлённо. Личико, которое не портило отсутствие волос, выглядело милостивым и, благодаря приглушённому мерцанию тени, почти живым. Коля, без сомнения, укачивал её и пел колыбельную. Рядом с ним на земле меж двух кривых ветвей стояла игрушечная детская коляска без колес, внутри она была выложена свежей зелёной травой, в изголовье лежал свёрнутый носовой платок, второй платок, очень большой и более чистый, висел на одной из веток, – видимо, он служил одеялом. Два желания боролись во мне: естественное – заорать и расхохотаться в голос и необъяснимое – смотреть и не дышать. Оба эти желания, внешне противоположные, на самом деле имели истоком одно и то же: я был очарован этой сценой, которая на самом деле должна была выглядеть необыкновенно смешной. Но почему-то таковой не выглядела; потому мой человеческий интерес поборол коллективистский инстинкт, благо я был один. Что-то очень трогательное было в этой большой нелепой фигуре больного ребёнка, качавшего на руках лысую куклу. Я вдруг с невероятной отчётливостью понял, что он родился ребёнком и ребёнком умрет, у него никогда не будет настоящих детей, той любви, следы которой мы с отвращением и тайной завистью находили именно здесь, в этом заросшем тупике, где, оказывается, в сосредоточенном одиночестве Коля баюкал дитя; едва

ли зная вообще, откуда и как берутся дети, он совершал какие-то почти материнские действия, подсмотренные им в этом мире, враждебном, не принявшем его и лишившем изначально столь обыкновенных, казалось бы, радостей. Каюсь, на мгновение я ощутил себя счастливым. Но именно на мгновение. Допев, Коля осторожно уложил куклу в коляску, снял с ветки платок, стряхнул его и покрыл им тельце, подоткнув с боков. Он улыбался и беззвучно шлёпал губами. Откинувшись спиной к стене, он поднял глаза. И тут наши взгляды встретились.

Я испугался, что он сейчас закричит. Но он не закричал, только глаза его ещё более сузились, зрачки расширились, рот раскрылся и от правого угла его заструилась слюна. Коля зачмокал губами, словно что-то пережёвывая и тяжело глотая. «Привет, Коля», – сказал я так, будто просто встретил его на улице. «Иди-иди», – проговорил он, захлопав себя по ляжкам. И заухмылялся таинственно: я понял, что он узнал меня. И что он меня не прогоняет, а зовёт. Я смело протиснулся ближе. «Твой ребёнок, Коля, да?» – спросил я, неестественно улыбаясь. «Сын, сын», – ответил он, любовно глядя на спящую с открытыми глазами куклу. Конечно, явные признаки пола у куклы отсутствовали, но по всему это была всё-таки девочка. Спорить я, однако, не стал. «Сад, мой сад, са-дик», – проговорил Коля, разводя руками и смотря по сторонам. «Это твой сад, Коля?» – «Да-да, сад, са-дик». – «Детский садик?» – «Не-не, сад, сад, мой, – коротким большим пальцем он ткнул себя в грудь, – мой сад, са-дик». – «Здесь растут твои деревья и кусты?» Он радостно закивал. «И ты здесь растишь своего сына?» Он опять закивал. «И он здесь, когда подрастёт, будет у тебя гулять?» Коля соглашался. «А где твоя жена, Коля?» – «Не нада, не нада», – испуганно посмотрел он по сторонам, словно опасаясь появления этой страшной, пугающей, всё пу-

тающей в его мире какой-то жены. Сам по себе отец и мать. Мы помолчали. Коля влюбленно смотрел на спящую куклу, время от времени переводя взгляд на меня. Медленно, замирая, билось сердце – я его слышал, трепетный свет осторожно и ласково изменял казавшиеся прежде столь некрасивыми черты Колиного лица; Колин взгляд, чуть туманный, глубокий, едва ли не мудрый, смущал меня, словно я подглядывал за чем-то не то чтобы неприличным, но тайным, боящимся постороннего вмешательства. Его тайный мир, избыточно хромосомный, и вправду был просто другим, а вовсе мною не придуманным. Он существовал отдельно от нас, будучи нам недоступным, – но, соприкоснувшись с ним, я ощутил и собственную ущербность, равную Колиной, а может быть, и большую, и то, что нам друг друга никогда не понять. Но попытаться, попытаться... Или всё это чушь?.. По случайности (которых не бывает) или наитию, которому иногда следует доверять, я вспомнил о совсем недавнем происшествии, не имевшем к Коле никакого, ну абсолютно никакого отношения. Я смотрел по телевизору одну из бесконечных серий любимого фильма про танкистов и собаку. Телевизор у нас был старенький, чёрно-белый «Рекорд». В тот раз герои одержали очередную победу, по поводу чего под лезгинку плясали в берёзовой роще, и вдруг берёзы зашелестели зелёными листьями, прорезался голубой кусок неба, лица героев порозовели, а сарафан девушки окрасился в малиновый цвет. Всё это продолжалось, наверное, несколько секунд, но не было галлюцинацией. Тогда я предположил, что проводится телевизионный эксперимент, чему, впро-

чем, у друзей своих подтверждения не получил, расспрашивая их после осторожно: никто ничего необычного не видел. В подробности я не пускался, догадываясь, что мне никто не поверит, а мне почему-то важно было, чтобы верили. И вот теперь я мог рассказать об этом Коле, благодарному слушателю. Он ни в чём не сомневался, только очень серьёзно морщил лоб. Всё рассказав и зачем-то ожидая ответа (какого ответа?), после наступившей томительной паузы, понимая, что он мне верит, я догадался наконец о другом – о том, что Коле моя столь волшебная история просто не интересна, – он хотел говорить и слышать сейчас только о своём Саде. «Сад, са-дик», – улыбаясь, подтвердил он. «У тебя будут здесь песчаные дорожки, цветы пионы вдоль них, – показывал я на усыпанную мелкими осколками землю, – там пруд с золотыми рыбками, по нему будут плавать белые и розовые лебеди, и дом на берегу пруда, и ты будешь всегда жить в нём со своим... сыном, и всё у вас будет хорошо-хорошо, как в сказке, о цветочке, аленьком...» С подбородка его капала слюна, иногда он вытирал её рукавом. «А ещё у вас будет...» Но тут заплакал ребенок.

Это было так неожиданно и неправдоподобно, что я вздрогнул. «Уходи, уходи, не спи!», – встрепенулся Коля, склоняясь над куклой. Я послушно стал отползать, почему-то не к ограде, а вдоль стены, путём самым неудобным, где кусты были особенно густые. Но я всё же продрался сквозь них, плач уже прекратился, и до меня доносилось тихое: уа-уа-уа-уа...

Июнь. Лето. Холодно...